

# Тосканский принц и канатная плясунья (Амедео Модильяни - Анна Ахматова)

**Автор:**

[Елена Арсеньева](#)

Тосканский принц и канатная плясунья (Амедео Модильяни - Анна Ахматова)

Елена Арсеньева

Грешные музы

Елена Арсеньева

Тосканский принц и канатная плясунья

Амедео Модильяни - Анна Ахматова

Одним из нежных майских дней 1910 года в знаменитом кафе «Ротонда», что расположено на знаменитом бульваре Монпарнас в знаменитом городе Париже, скандалили двое знаменитых мужчин - один художник, а другой поэт. А за ними наблюдала некая знаменитая женщина, поэтесса...

Сразу следует оговориться, что среди всего этого нагромождения знаменитостей в этот момент право считаться безоговорочно знаменитым имел пока только Париж, а вот истинная популярность всего прочего и всех прочих еще только брезжила в туманных далях грядущего. Но она, настоящая популярность, настанет, придет, и она сделает Монпарнас и «Ротонду» местом паломничества туристов, повздоривших мужчин возведет в ранг небожителей, а женщину увенчает терниями и лаврами одновременно. Однако в тот весенний день все это еще бледно сквозило в совершенно парижской дымке, смешанной из уличной пыли (в те времена еще не весь Париж был глухо заасфальтирован, зацементирован, замощен; к тому же только что закончилась перестройка бульвара Распай, и следы этой перестройки пока не были заметны); из сизого

тумана автомобильных выхлопов и реющей в воздухе пылицы с буйно зацветающих деревьев и цветов; из коричневого кофейного праха, выпавшегося из ручной мельнички, и раскрошившегося красного сургуча винной пробки; чуточку – из муки, оставшейся на боку свежее испеченных, еще горячих, ароматных багетов и круассанов, горкой наваленных на прилавке; и самую малость – из тончайшего порошка, рассеявшегося из бумажного фунтика, который выпал из кармана художника, потому что он был очень сильно пристрастен к порошку, составлявшему немалую часть его отчаянного вдохновения и утонченно-безумного таланта...

Впрочем, конкретнее о вышесказанном.

Итак, скандал вышел из-за дамы – *cherchez la femme!*

La femme сия была весьма хороша собой. Ее высокую фигуру, ее царственную походку и неповторимый, вошедший в историю мировой литературы и живописи профиль в разное время и по-своему описывали современники и современницы:

«Она была очень красива, все на улице заглядывались на нее. Мужчины, как это и принято в Париже, вслух выражали свое восхищение, женщины с завистью обмеривали ее глазами. Она была высокая, стройная и гибкая... На ней было белое платье и белая широкополая соломенная шляпа с большим белым страусовым пером – это перо ей привез только что вернувшийся тогда из Абиссинии ее муж».

Впрочем, некоторые не соглашались со столь банальным утверждением «очень красива», а уверяли, что в ней было нечто большее, чем красота: «Просто красивой назвать ее нельзя, но внешность ее настолько интересна, что с нее стоит сделать и леонардовский рисунок, и гейнсбороваский портрет маслом, и икону темперой, а пуще всего поместить в самом значащем месте мозаики, изображающей мир поэзии...»

«Нет, красавицей она не была. Но она была больше, чем красавица, лучше, чем красавица. Никогда не приходилось мне видеть женщину, лицо и весь облик которой повсюду, среди любых красавиц, выделялся бы своею выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим внимание...»

Пожалуй, довольно о внешности дамы в шляпе с пышным белым страусовым пером, которое однажды заденет о верх экипажа... Добавим только, что по-французски имя ее звучало как «Анн» и необыкновенно ей шло. Впрочем, русский вариант имени – Анна – тоже считался красивым, но, пожалуй, тяжеловатым, помпезным, даже немножко слишком бархатным. А вот французский молодой и нервный слог «Анн» куда больше был ей к лицу – к этому юному, худому, горбоносому лицу с тревожными темными глазами и тонкими губами. Обычно молодая женщина высокомерно поджимала их, но тут забыла это сделать: так взволновалась, наблюдая за раздором мужчин, один из которых был ее новобрачным супругом, поэтом и звался Николай Гумилев. О другом она почти ничего не знала, кроме имени (Амедео, что означает любимец бога), рода занятий (художник-портретист) и... и еще Анна знала, что влюбилась в него с первого взгляда, а он влюбился в нее.

А между тем влюбляться в кого бы то ни было Анне было неразумно и ни к чему, потому что она приехала в Париж не просто так, а в свадебное путешествие. Целых семь лет осаждал ее сначала своими признаниями, а потом и предложениями руки и сердца соученик по царскосельской гимназии, сосед и приятель юности Николай Гумилев. Он происходил из обедневшей дворянской семьи, отец его был отставной корабельный врач. После нескольких лет, проведенных в Тифлисе, семья вернулась в Царское Село, и семнадцатилетний Гумилев снова поступил в Николаевскую царскосельскую гимназию, директором которой был не кто-нибудь, а знаменитый поэт Иннокентий Анненский – один «из последних царскосельских лебедей», как назвал его Николай. Только что вышел сборник стихов Анненского «Кипарисовый ларец», и книга эта произвела просто-таки разрушительное впечатление на Аню, которая была тогда просто девочкой, но уже, наверное, предчувствовала, что когда-нибудь нацепит шляпу с пером и будет останавливать на себе взоры всех встречных мужчин.

Она в Царском Селе была чужая: родилась в Одессе, но вскоре отец, отставной флотский инженер-механик Андрей Антонович Горенко, получил какую-то службу у великого князя Алексея Михайловича, и семья переехала под Петербург – в Царское Село, бывшее летней резиденцией императорской фамилии.

Здесь семейство Горенко поселилось на углу Широкой улицы и Безымянного переулка, рядом с железнодорожной станцией, в доме, где находился когда-то заезжий двор или трактир. Комнатка у Анны была суровая, неудобная, с рваными обоями. Впрочем, это казалось совершенно неважным. Главное, что здесь

некогда бродил по аллеям смуглый отрок Пушкин, здесь лежала его треуголка и растрепанный том Парни, и Анечка знала, что когда-нибудь и она станет такой же мраморной, как он. Станет холодным, белым символом русской поэзии! Скромностью она не страдала, к счастью для себя и для этой самой поэзии. А лет с одиннадцати, как почти все русские подростки, ее современники, писала стихи, стихи, стихи. Как-то отец прочел ее первые опыты и немедленно назвал дочь «декадентской поэтессой», попавши не в бровь, а в глаз.

Да кем ее только не назовут впоследствии! Не то монахиня, не то блудница – это станет итогом. Но до этого еще предстояло дожить, это еще предстояло заслужить! Пока же Анечка лишь только вступала на порог своего распутного монастыря.

Жизнь в Одессе была вольная – в Царском Селе основой существования была светская муштра. «Тут ходили по струнке!» – выразится сама Анна позднее.

Корней Чуковский, описывая ее, скажет так: «Порою, особенно в гостях, среди чужих, она держала себя с нарочитой чопорностью, как светская дама высокого тона, и тогда в ней чувствовался тот изысканный лоск, по которому мы, коренные петербургские жители, безошибочно узнавали людей, воспитанных Царским Селом...»

«Тонкая и гибкая, как ивовый пруттик, с очень белой кожей, она (особенно в воде царскосельской купальни) прекрасно плавала и ныряла, выучившись этому на Черном море... Она казалась русалкой, случайно заплывшей в темные неподвижные воды царскосельских прудов». Это отзыв подруги.

Ни к кому на свете не влекло Николая Гумилева так, как к этой необычной, темноглазой, замкнутой, высокомерной и угловатой девочке, похожей на русалку, колдунью, вещунью. И он осаждал ее с безнадежным упорством. А она его, выражаясь по-нынешнему, отшивала. Когда Николай тащился следом за ней по дороге из гимназии, Анечка нарочно болтала с подружкой на немецком языке, которого Николай не знал.

Итак, Анечка была загадочная, неприступная красавица, а Николай что же?

«Юноша был тонок, строен, в элегантном университетском сюртуке, с очень высоким темно-синим воротником (тогдашняя мода) и причесан на пробор

тщательно. Но лицо его благообразием не отличалось, бесформенно мягкий нос, толстоватые бледные губы и немного косящий взгляд. Белые точеные руки я заметил не сразу. Портил его и недостаток речи. Николай Степанович плохо произносил некоторые буквы, как-то особенно заметно шепелявил... Выглядел он элегантно».

Вернее, оригинально! Оригинальность его костюма запоминали все: и лиловые носки при лимонной феске и русской рубахе на даче; оленью доху с белым рисунком по подолу, ушастую оленью шапку и пестрый африканский портфель зимой в Петербурге...

Еще отзыв: «У него было очень необычное лицо: не то би-ба-бо, не то Пьеро, не то монгол, а глаза и волосы светлые. Умные, пристальные глаза слегка косят. При этом подчеркнута церемонные манеры, а глаза и рот слегка усмеваются...»

Усмехаться над всем – это была хорошая манера. Даже если тебя поломала женщина – засмейся и уезжай куда-нибудь. Например, в Африку!

Нет, Африка будет позднее. Пока же Николай, окончив гимназию, уехал в Париж – слушать лекции в Сорбонне. Кстати, в отличие от Анны, которая легко выучила французский на уроках старших брата и сестры, он языка так толком и не знал. Да бог с ним, с французским, ведь русского народу в Париже в то время было множество. Обитали здесь Бальмонт и Волошин, шатались там и сям революционеры, русские, польские, еврейские художники уже наводняли Монпарнас. Гумилев был в восторге от «парнасцев», и в первую очередь – от Теофиля Готье. Неожиданно для себя самого он начал издавать в Париже на свои деньги журнал «Сириус», в котором под разнообразными псевдонимами печатал собственные стихи и даже стихи некой Анны Горенко. Как конкистадор в панцире железном, он вышел в путь и весело шел им, надеясь, что рано или поздно добудет эту голубую лилию!

В 1908 году в Париже он издал книгу стихов «Романтические цветы», где обитали его конкистадоры и рыцари, где бродил изысканный жираф с озера Чад (того самого, на берегах которого поклоняются странным богам девы-жрицы с эбеновой кожей).

В Петербург Гумилев вернулся достаточно известным молодым поэтом и немедленно издал книгу «Жемчуга», знаменитую прежде всего появлением в

ней блистательных «Капитанов», одним из которых, конечно, Николай считал себя. Это он, взойдя на трепещущий мостик, вспоминал покинутый порт, отрясая ударами трости клочья пены с высоких ботфорт, или, бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвал пистолет, так что сыпалось золото с кружев, с розоватых брабантских манжет... Это он пронизал моря острым, уверенным взглядом, он был убежден, что нежен у девушек профиль лица, что еще не все пересчитаны звезды, что наш мир не открыт до конца...

Девушек с нежным профилем лица у него было много, но жениться, хоть режь, хотелось только на одной – той, которая интересовала Гумилева больше всех на свете и была к нему равнодушна. Жениться для него значило обеспечить ее верность, привязать ее к себе вечными, крепкими, нерасторжимыми узами. Как будто он не знал, что она – существо из тех, которые в неволе не живут, которое, подобно волчице, посаженной на привязь, лапу себе отгрызет вместе с цепью, только бы на свободу вырваться!

А тем временем эта девушка в 1907 году уехала из Царского Села в Киев и там закончила выпускной класс гимназии, а потом поступила на юридический факультет Высших женских курсов. Пока приходилось изучать историю права и особенно латынь, было интересно, когда же пошли чисто юридические предметы, Анна к курсам охладела. Кроме того, она была тогда влюблена (а как же иначе!) в одного человека, которого в письмах называла то В., то В. Г. Кутузов. Но он, Владимир Викторович Голенищев-Кутузов, намеревался жениться на другой. Чтобы утешиться и что-то такое своему В. доказать, она решила выйти за Гумилева и в письме к другу своему Штейну написала: «Я отравлена на всю жизнь, горек яд неразделенной любви! Смогу ли я снова начать жить? Конечно, нет! Но Гумилев – моя Судьба, и я покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если можете, я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной».

Итак, Гумилев, в очередной раз попросивший Аниной руки, неожиданно получил согласие.

Двадцать пятого апреля 1910 года они повенчались в Киеве при полном неодобрении и отсутствии родственников, которые трезвыми умами понимали, что счастья в этой новой семье не будет, потому что не может быть никогда. Правоту родственников поняли и молодые – после первой же брачной ночи.

О «страсти» оба знали много, но как-то очень уж умозрительно. Чисто теоретически. Казалось, надо лишь коснуться друг друга – и немедля «сгоришь в горниле» чего-то там. Захлебнешься или задохнешься (это уж кому как повезет!) от наслаждения на мятых простынях...

Не получилось. Не сгорели, не захлебнулись и, слава богу, не задохнулись. С Николаем было чуть проще (мужчины все же, как правило, хоть что-то для себя получают), а вот Анне не удалось почувствовать ничего, кроме стыдливого недоумения: эти неловкие усилия, эти бессмысленные движения – это и есть оно? Хм, было из-за чего огород городить! Лучше бы по-прежнему любить Николая, как сорок ласковых сестер! Но надо продолжать ломать комедию и ехать в свадебное путешествие.

Впрочем, узнав предполагаемый маршрут, Анна с комедией немножко примирилась, ибо молодой муж желал показать ей уже знакомый ему Париж. И не просто непременно туристический набор (Ситэ, Нотр-Дам де Пари, Елисейские Поля, Лувр и Тюильри), но и Монмартр, а также модное, бешено модное местечко среди богемы – Монпарнас.

Поскольку действие далее будет разворачиваться преимущественно на Монпарнасе, есть смысл поговорить о нем хотя бы чуть-чуть подробнее.

Центральный, доживший до наших дней со Средних веков Париж как бы ограничен с севера и юга двумя «точками» – это Mont-Martre, Гора Мучеников, и Mont-Parnasse, Гора Муз. Последнее место – вовсе не гора, да и название появилось только в начале XX века, а раньше это была просто часть Латинского квартала. Центр Монпарнаса – перекресток Вавен, пересечение бульваров Монпарнас и Распай. Именно здесь обосновались в описываемое время кафе «Ротонда», «Дом», «Куполь», «Клозри де Лиля», то есть «Хуторок в сирени», и прочие зланные местечки, где тусовались (это самое подходящее слово для обозначения процесса, происходившего в первые годы XX века!) сотни, нет – тысячи художников, как знаменитых, так и не известных, по меткому выражению Маяковского, никому, кроме своей консьержки.

Как говорили знатоки, Монпарнас не был истинно парижским районом со своей историей или неповторимой архитектурой (в то время он как раз перестраивался). Здесь, как на постоялом дворе, можно было найти лишь то, что вы привезли или принесли с собой. И все же магия этого места, даже самого этого слова была необыкновенна!

«Скажите: «Монпарнас!» – и это слово прозвучит заклинанием: «Сезам памяти, откройся!» И один за другим, словно по волшебству, возникнут обаятельные образы прошлого: вот полуодетый богемный Модильяни неуверенным шагом бредет по бульвару, картинно декламируя стансы из «Новой жизни»; в спецовке и с челкой во весь лоб появится Кислинг, «эскимосский слесарь»; Фудзита, «монсеньор Глициновых Полей», на добрых полвека опередивший хиппи своими бусами и серьгами; а вот – весь в черном – Паскен, режиссер агонии великого пира «безумных лет»... И вспыхнут всеми своими огнями кафе «Дом» и «Ротонда», и томно польются страстные мелодии антильских танцев «Негритянского бала», и пронзительно грянет джаз зала «Жокей»... Настоящая легенда!» – так вдохновенно писал историк-урбанист Жан-Поль Креспель в книге «Повседневная жизнь Монпарнаса в великую эпоху. 1905—1930».

А вот впечатления Анны: «Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена... Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны, то почти пеленали ноги. Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела парижскую поэзию».

Вот эти «съевшие» и теснились за столиками вышеназванных кафе. И преимущественно – «Ротонды».

Упоительное местечко! Во-первых, оно находилось на солнечной стороне перекрестка Вавен (в отличие от «Дома»), и в погожие дни на террасе «Ротонды» было чудесно. А хозяин, мсье Либион, просто обожал своих имущих и неимущих посетителей. Здесь проводили время, понятно, не только художники, скульпторы, поэты, актеры и актрисы, журналисты, манекенщицы и прочая богема; забегали каменщики, парни из соседней мясной лавки, кучера. Но они именно что забегали торопливо поесть вареной говядины, телячьей головы в соусе, свежепросоленной свинины с чечевицей или рагу из баранины, пропустить стаканчик мюскаде или каберне, чтобы вновь убежать по делам. А у художников и поэтов подчас не было иного дела, как часами сидеть в «Ротонде» перед опустошенным бокалом, ни о чем не беспокоясь, потому что мсье Либион не требовал обновления заказа. Он не обращал внимания на то, сколько съедено круассанов и сколько отщипнуто от багетов, наваленных в хлебницах на прилавке. Либион пророчествовал:



– Эти типы обращают на себя внимание, в конце концов они сделают мое заведение знаменитым.

Он просил художников приносить их не имеющие сбыта картины, брал полотна и рисунки вместо платы и вешал на стены. Куда-то они потом девались, но появлялись новые. Гениальность здесь выдавалась погонными метрами, одним росчерком пера!

Конец ознакомительного фрагмента.

----

Купить: <https://tellnovel.com/ru/elena-arseneva/toskanskiy-princ-i-kanatnaya-plyasunya-amedeo-modil-yani-anna-ahmatova>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)